

Юрий Колкер

ЛЕНТА - 22



СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ?

Наткнувшись на рифму, иной мыслитель кривит губы в усмешке; он верит, что мысль инвариантна к форме: не нуждается в одежке, не меняется при изменении выражающих её символов. Но это справедливо лишь в самых простых случаях. Сравним механику Ньютона и механику Лейбница: это одна и та же механика, но как по-разному она выглядит! Вместо силы — Лейбниц оперирует кинетической энергией. Он полностью, без всякого изъятия описывает движение твёрдого тела в скалярных величинах. Он обходится без трёхмерного пространства!

Если мыслитель не формулы пишет, а слова, его мысль ещё в большей мере уязвима: ещё сильнее зависит от платья. Без преувеличения можно сказать: мысль, выраженная другими словами, — другая мысль. *In aliis verbis, alia idea* (латынь тут самодельная, за правильность не ручаюсь). Даже язык важен; разве *table* и стол — синонимы?! Даже порядок слов не безразличен. Возьмём известное высказывание Самюэла Джонсона в двух русских переводах, каноническом и по-русски правильном:

(1) Патриотизм — последнее прибежище негодяя; и

(2) Последнее прибежище негодяя — патриотизм.

Разве это одна и та же мысль? В первом прочтении по-русски получается, что плох патриотизм, во втором, правильном, — плох негодяй.

Все античные философы дружно презирают поэтов, и все они — сами поэты. Нет ни одного высказывания Платона или Аристотеля, которое не было бы стихотворной строкой. Разве не стих — слова Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир!»? (Это уже потому стих, что тут присутствует логическая неполнота: для переворота требуется не только точка опоры, но ещё и рычаг, притом очень большой.)

Человек всегда нуждается в нарядах. Что такое песня, если не наряд? Мысли самые простые получают в песне форму, которая каким-то образом волнует и трогает нас. И что такое молитва? Стихи, эпические и лирические, вышли из песни: из молитвенной, алтарной песни. (Отсюда видно, что стихи старше прозы.) Текст, из которого полностью изгнано песенное начало, — не стихи. (Поэтому крик, даже хорошо зарифмованный, — не стихи.) Стихотворный текст никогда не содержит новой мысли, он всегда содержит известную мысль в новом облачении, новую версию. Если текст удачен, старая мысль в новом облачении кажется не только новой мыслью, а прямо откровением, всеобщей универсальной истиной; у читателя или слушателя сам собою возникает известный по литературе вопрос: отчего не я это сказал? ведь это моя мысль! ведь это — несомненно! (Так реагировал Георгий Иванов на одно из ранних стихотворений Мандельштама.) Буало говорит: «Что такое новая блестящая и необычная поэтическая мысль? Невежды утверждают, что эта такая мысль, которой никогда ни у кого не являлось и не могло явиться. Вовсе нет! Напротив, это мысль, которая должна была бы явиться у каждого, но которую кто-то один сформулировал первым».

В том, что я тут написал, нет ничего нового. (Новая мысль вообще — явление редкое.) Я зачем-то переформулировал старые и хорошо известные истины. Зачем потребовалась мне новая версия старых истин? Кто толкал меня под локоть? К кому я обращаюсь? «Разве к человеку речь моя?» (Иов)... Из всего сказанного (и подразумеваемого) вытекает, что я написал стихотворение в прозе.

...Однако ж и то скажу: есть в этом стихотворении в прозе прямая полемика, даже апологетика: я оправдываю мои мелочные придирки к тому, как выглядит литературный текст...



... вы говорите всерьёз, и я могу ответить вам всерьёз, не только полушутя. *Редает облаков летучая гряда* — стих замечательный, кто бы спорил... и как раз подтверждающий то, что я сказал в рифму. А вот другое: вы, ***, написали в том же юном возрасте стих, не уступающий этому стиху. Ведь написали? Я не сомневаюсь, что написали. И имярек написал. Я вот к чему клоню: фетишизация — вчерашний день. Пора смотреть на классиков открытыми глазами, мерить их достижения общим критерием. А про Лермонтова так скажу: печать гения лежит на считанных его строках. Почти все его стихотворения (куда я и поэмы отношу; стихотворение и поэма — синонимы) — незаконченные наброски. О его скабрёзных и грубых поэмах вроде *Уланиш* (худшие до нас не дошли) и говорить не хочется. Не забудем и того, что преемником Пушкина провозгласил Лермонтова царь Николай, с чего и началась посмертная слава Лермонтова. До этого — современники его в поэтах не числили. Боратынский говорит: «Читая его прозу, слышишь Бальзака и Евгения Сю, о стихах же его говорить нечего...» (цитирую по памяти, за смысл ручаюсь). Вот я и думаю, что Лермонтов — первый в русской культуре поэт резолюции. Маяковский — только второй; он во всех смыслах вторичен, второстепенен... Впрочем, Маяковский к русской культуре не относится: он — корифей советского бескультурия.

17.11.22



Просто удивительно, как знаменитое стихотворение Киплинга, эпитафия *A Dead Statesman* (1924), подходит к Маяковскому! От слова до слова, ни отнять ни прибавить! —

I could not dig, I dared not rob,
And so I lied to please the mob.
Now all my lies are proved untrue,
And I must face the men I slew.
What tale will serve me here among
Mine angry and defrauded young?

Даже название — к месту!

13.11.22



Куда деваться, дорогой? Некуда деваться! Мы с тобою — однайцевые близнецы, мы родные друг другу — некуда родней... и — мы чужие друг другу. «Мы разошлись, как в море корабли...» Имитировать родство тоже ведь ни к чему, не так ли? Вот я и посылаю тебя подальше. Есть вещи и вещи. Иной скажет: это ли не пустяк, — литературный приём, пусть идиотский, — неужто из-за этого ссориться? На это отвечу: мне завтра умирать. Не хочу умереть, не сказав того, что на сердце. На сердце же у меня одно: не терплю низости в литературе. Безобразное — безобразно. Не терплю приспособленчества и популизма, заигрываний с всесветным мещанином, которому «нет преград на море и на суше», не терплю перемигивания с чернью... а ты — что делать, дорогой, посмотрим правде в глаза, — ты — с ним, с торжеству-

ющим обывателем. В этой компании тебя и оставляю. Чего дурака-то валять? Горько, но зато и вольготно. Моею истиной, пусть крошечною, не поступлюсь. Ogevoir. До братства в следующей инкарнации, бывший друг!

10.11.22

ИГРАЮТ НА ПОНИЖЕНИЕ

...минуточку! У нас о чём речь? Мы истины домогаемся или нам ладушки подавай? За своё понимание истины люди на костёр шли, а тут — всего-ничего: я, оказывается, «многих оттолкнул»! Вот уж велика беда! Да и новость велика: когда это я бывал уживчив и уступчив? Десятилетия назад сказано:

Всех моих друзей
Я оттолкнул без видимой причины.

Друзей! А тут — чужие выявлены. Я фильтр установил: кто способен задуматься — в одну сторону, кому подавай устоявшееся и привычное — в другую. Я формулы одного древнего мыслителя держусь: «Вам сказано... а я говорю...» Конвенция, против которой я возражаю, — именно насиженное теплое местечко, уютное мещанское суеверие, соглашательство. Люди не понимают, какому богу служат. Они слышали, что в приличном обществе так принято, а взглянуть в суть дела неспособны.

Ты говоришь: И.В. — друг. Верно, она друг, достойнейший человек, умна, читает стихи, но что же тут поделаешь? И она — жертва суеверия. У неё Генделев в поэтах ходит. Между прочим, всё сказанное по поводу стихов она от меня слышала и раньше. Отвернётся теперь — её дело; поплачу да и успокоюсь. Истина дороже.

Ведь вот в этом-то и вся штука: мою нехитрую истину я твержу десятилетиями, и одни — попросту не слышат, другие — отмахиваются, думают: чудит человек. Спорить не с кем, никто моих доводов открыто не отрицает, никто, не приняв их, своих доводов выставить не может, все предпочитают кресло перед телевизором. Истина же моя нехитрая выражается в двух словах: в поэзии, смысл которой — возвышать душу, нужно прекратить игру на понижение, длящуюся более столетия, — иначе поэзия, и без того полумертвая, вовсе умрёт. Всё остальное — выводы, леммы. Стоит отказаться от игры на понижение — и бездарностям деться будет некуда; они разом исчезнут, слинянут, потому что без дымовой завесы все увидят им цену. Стоит отказаться — и в поэтах перестанут, как ныне, видеть шутов гороховых.

Да, поэтическая мысль, как и мысль философская, многослойна и в этом смысле сложна, в хороших стихах — всегда сложна, но человек, не дурачащий себя и других, приложит все силы к тому, чтобы выразить всю свою душевную сложность с максимальной словесной простотой. Намеренное усложнение текста (отказ от знаков препинания и прочее циркачество) есть конформизм, заигрывание с толпой, — не алтарное служение. Самые простые стихи — уже столь иррациональны, что их иррациональность обывательскому сознанию недоступна, и вот Смердяков с филологическим образованием требует, чтобы поэт шпагу глотал — без этого он поэту не верит. И стихотворец, не долго думая, подстраивается под этот социальный запрос Смердякова.

А что касается одиночества в литературе, то оно ведь почётно. Одиноки были Боратынский и Ходасевич, в полном одиночестве и непонимании доживал своё небольшое Пушкин. Не

одинок ли был и ранний Набоков? Не воспекает ли он своё одиночество в лучших, в блистательных и гордых своих стихах? —

Зоил (пройдоха величавый,
корыстью занятый одной)
и литератор площадной
(тревожный арендатор славы)
меня страшатся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь мою я взвесил
на пушкинских весах, и честь
осмеливаюсь предпочесть.

Я с юности люблю этот фрагмент, он выражает меня так, как если б я сам это написал. (Заметь, что Набоков говорит «честь мою», а не «честь свою», как написало бы большинство, — замечательно! это и культурнее, и по звуку правильнее.) Однако ж и Набокову возражу: этот прекрасный поэт героически, с готовностью идти под пулю, присягает пушкинской традиции в эпоху дыр-бул-щила и — при всём его уме! — не видит, что, начиная стихотворную строку с маленькой буквы, он идёт на поводу у пресловутого «духа времени», протягивает руку всяческим кручёным: тому самому дыр-бул-щилу. Что означает начальная прописная? Только одно: «мы, теперешние, живущие, умнее наших предков, писавших гусиным пером; наше время — более передовое!», — что, конечно, вздор. Набоков не видит, что противоречит себе, не сознаёт, что возражает Пушкину, отворачивается от Пушкина.

5.11.22

ТРИ ЛОЗУНГА

Сегодняшняя ихняя подлость возникла не в одночасье и не на пустом месте.

В середине 1990-х Лубянка бросила лозунг: «За державу обидно!», и вся интеллигентная сволочь по обе стороны границы его подхватила. Повторяли, как замороженные, не понимая, что говорят. Никому не было обидно за человека, за миллионы ни за грош погубленных жизней. Поразительно то, что эту мерзость чуть ли не единодушно подхватила русско-еврейская эмиграция, то есть как раз беженцы из «державы». (Чем, понятно, и определился умственный и нравственный уровень этой эмиграции.) Но это был ещё осторожный лозунг, выжидательный. Убийцы нащупывали почву, и почва оказалась подходящей; советские люди, «новая человеческая общность», никуда не делись.

Второй лозунг Лубянки был более уверенным: «Я помню, я горжусь!» Тут подлость уже открытая, да и агрессия чувствуется; тут прямой расчёт на людей тупых и бессовестных. И опять приманка сработала! Оголтелая советская чернь немедленно поверила, что надо гордиться тем, чего следует стыдиться. Ихняя так называемая «Великая отечественная война» ни на минуту не была ни отечественной, ни великой. Умирали не за Россию, а за Совдепию, за большевизм, за новый разъевшийся класс. Война была позорной от начала до конца. Воевать не умели и не хотели. Заградотряды — разве не подлость, не предательство? К ноябрю 1941 года всё было бы кончено, если не громадная материальная помощь Запада и целый месяц непо-

нятного бездействия немцев. Дальше воевали большой кровью. Немцев, у которых было пять фронтов, погибло всего шесть миллионов (а ведь авиация союзников сносила с лица земли целые немецкие города вроде Дрездена), — советские с их одним фронтом (для немцев вторым), умудрились положить двадцать семь миллионов (не Гитлер, а Сталин выморил голодом полтора миллиона ленинградцев; Гитлер, как известно, сразу же распорядился Ленинград не брать). В Белоруссии, говорят, погиб каждый четвёртый, — но это опять Москва их убила, а не Берлин; Москва создала условия, при которых крестьянину приходилось уходить в диверсанты, а немцам — преследовать крестьян. А как «родина» обошлась со своими воинами? Побывавших в плену — в ГУЛАГ, безногих — на Соловки!

Происхождение первых двух лозунгов завуалировано; иным даже казалось, что они народные. Происхождение третьего лозунга — открытой угрозы «Можем повторить!», — ни у кого сомнения не вызывало. Он исходил из Кремля, оборотная сторона которого — Лубянка. Москва, вот уже более столетия всемирная столица лжи и подлости, окончательно сдёрнула маску. «Мир хижинам, война дворцам», «Миру мир!», «Светлое будущее всего человечества», — всё оказалось фиговым листком русско-советской мечты о мировом господстве. Но что они могли повторить? Позорные отступления? Позорные победы при численности одиннадцать к одному и преимуществе в технике? Повторить мечтали одно: оккупацию половины Европы. Чингисхан жив! Растоптать цивилизацию, подчинить культурные народы бессмысленной орде — вот сущность этой страны без общества, страны без народа.

2.11.22

МОЯ ФЛОРЕНЦИЯ

...ты права: патриотизм и есть! Мой стих «Флоренция и рифмы на уме» — что же тут ещё, как не патриотизм? Говорю это не шутя. В двадцать лет я всем сердцем знал, что Ленинград с моей мечтой о Флоренции лучше самой Флоренции. Флоренция оставалась именно мечтой, ведь большевики за границу не пускали, — но хватало и мечты. Я всем сердцем знал: врёт Кюстин, что Петербург — одни декорации. Это город Пушкина, это «русские Афины». Патриотизм ведь как работает? Он говорит: все люди вокруг — родные. Плохие, хорошие, умные, глупые, знакомые и незнакомые — все в чём-то родные. А что они марксизм-ленинизм исповедуют, так это они болеют. Главное, что все добрые. Как там у Льва Куклина в песне про ленинградский дождь (на музыку моего однофамильца):

«Вижу родные и мокрые лица,
Голубоглазые в большинстве...»

Теперь вспомним, как я перестал быть патриотом. Началось, казалось бы, с пустяка: я вдруг, не веря себе, увидел, что добрые люди намеренно уродуют своих великих поэтов, подлаживают их под себя. «Есть Грозный Судия» вдруг заменили на «Есть грозный суд». Да-да, добрые люди будто бы такой автограф нашли, но это всё враньё. Ещё хуже: Некрасовское о Добролюбове «Как женщину, он родину любил» переделали в «Как мать, он Родину любил...». Это в учебники попало! Здесь подлость двойная, двойной квасной патриотизм: во-первых, прямое искажение классического стиха, то есть мародёрство; во-вторых, — родина с прописной буквы, выдумка чисто русско-советская, Некрасову незнакомая: отвратительный фетишизм. Замечу в скобках, что стих Блока «О Русь моя! Жена моя!» целиком выведен из не-

красовского «как женщину», на Некрасове держится — иначе казался бы дерзостью ещё более изумительной. Дальше — пуще. Брюсов в 1920 году находит двенадцать канонизированных искажений в тексте пушкинского *Памятника* (стихотворения, начиная с которого русская литература предположительно становится великой), я насчитал пятнадцать. Но это давно было, я ещё тогда русским был, не шарахался от этого имени: русский. Теперь я знаю, что ни одно произведение Пушкина не печатается в его, Пушкина, начертании. Нужно ли продолжать? что сказать о родине, способной на такую низость по отношению к своему лучшему сыну? Только — словами другой песни с напрашивающейся поправкой:

«В мире нет другой
Гадины такой...»

Родина оказалась гадиной.

Да, стихи — обочина жизни, маргиналия, нечто не слишком важное. Достойный и умный человек может жизнь прожить без стихов, и его не упрекнёшь. Но стихи — лакмусовая бумажка чего-то сокровенного, того, что делает народ народом. И вот — хочешь верь, а хочешь проверь (перечитай мои стихи середины 1970-х и кое-что из прозы), а из этой ихней филологии я уже в 1970-е вывел, что теперешние так называемые русские — самый жестокий сброд XX века, что они хуже нацистов, что они недостойны имени народа — и что, понятно, никакие они не русские. Родные — оказались хуже чужих. Сейчас, в XXI веке, когда кремлёвские «коммунисты» превзошли в жестокости арабских террористов, я хоть и потрясен, как все, но ничуть не удивлён: я знал этот сброд изнутри, я вывел его подлость из его отношения к русской поэзии. Родина оказалась гадиной, именно так. Если мы не язычники, родина — не камни и деревья, а люди. Теперешние тамошние — внуки тогдашних тамошних: та же порода. Большевизм они в одночасье сменили на кривославие и перемены в себе не заметили. «Светлое будущее всего человечества» оказалось на поверку русско-большевистским империализмом...

Я начал с Флоренции, ею и закончу. Нет для меня на свете города более чужого, чем город на Неве... (Москва не в счёт; что говорить о мировой столице лжи и ненависти, об этой новой Ниневии?) Я о себе говорю. Люди на берегах Невы некогда казались мне родными, я ещё живо помню это чувство... и вот — нет на всём белом свете людей мне более чужих, нет в этом городе ни одного человека, с которым бы я общался или хотел бы общаться: ни одного. Родина умерла. И мне не больно за родину, мне стыдно, что я считал этот город родиной. Разве тамошние «лучшие» — сколько их ни на есть (ложка мёда в бочке дёгтя) — не предали самих себя и Россию, уж не говорю: меня?

Зато уж настоящая Флоренция — со мною. Этой родины у меня не отнимешь. Стыжусь, что я уподоблял ей, столице Возрождения, отвратительный, насквозь фальшивый город с переменчивым именем и мелкотравчатым людом.

17.10.22

РЕМАРКА ВЕЖЛИВОСТИ

«Стихотворения и поэмы» — в эпоху Пушкина такое название вызвало бы хохот. Вижу, как сам Пушкин хохочет и за бока хватается. Стихотворение и поэма — полные синонимы. Различие между двумя понятиями примерещилось людям, не знавшим ни одного европей-

ского языка. Закрепилось это безумие в советское время, когда уже не стало русского народа, но началось оно чуть раньше. Уже Брюсов подсмеивается над тенденцией; у него есть поэма в одну строку: «О, закрой свои бледные ноги!»

Протяжённость, число строк — решительно ни при чём, ведь в четыре строки можно вложить сюжета больше, чем в четырёхстишие. Обычное возражение — что в хорошие времена авторы иногда ставили слово *поэма* над протяжённым текстом — проистекает от недомыслия. Этой ремаркой — поэма — автор предуведомлял читателя, что тому придётся читать стихи, а не прозу: только и всего. Эта была ремарка вежливости. Она обычно на обложке стояла. Нагружены смыслом другие ремарки. Пушкин называет свою вещь романом, чтобы подчеркнуть, что отступает от романтической приподнятости: делает шаг в сторону прозы. Гоголь ставит слово *поэма* над своим совсем не поэтическим (и весьма посредственным) текстом потому, что конъюнктурщик Берлинский ему все уши прожужжал, что он, Гоголь, поэт и даже глава поэтической школы (при живом Пушкине!). Ради вызова ставит. По недомыслию ставит. Гоголь был человеком ограниченным по уму и образованию, небо у него было с овчинку. А Фет, над своею единственной протяжённой и сюжетной вещью, *Студент*, никакой ремарки не ставит, что и замечательно. Любой стихотворный текст — поэма.

9.10.22

ЧЁРНЫЕ РУКИ ВИКЖЕЛЯ

Не смейся, дорогая. Детские переживания — вещь серьёзная. Был Викжель Пути, рядом с которым Мефистофель — мелкий бес. Викжель Пути с чёрными руками. Громадный, нечеловеческих размеров, он развёл своими чёрными руками — и жизнь остановилась. Я это в 1960 году вынес из четверостишья:

Мы стали злыми и покорными.
Нам не уйти.
Уже развёл руками чёрными
Викжель пути.

По ночам я просыпался в холодно поту: из стены высовывались чёрные руки Викжеля и хватали меня.

Четверостишье получил я как таковое: оно было вырвано из недоступного стихотворения недоступного поэта: поэтессы с лошадиной фамилией, Зинаиды Гиппиус. Гиппиус была хуже вора или убийцы: она была эмигрантка. Вор и убийца большевикам был «социально близок»; из лагерей он возвращался в общество, к своему поприщу, до следующей отсидки. Эмигранты, предатели, изменники родины, враги народа — эти жили в потустороннем мире, откуда возврата нет. Что им делать в самой передовой стране мира, бодро строящей светлое будущее всего человечества? «Шагай вперёд, соколиное племя!» Стихов Гиппиус в открытых библиотеках не водилось. Самое имя её было полузапретно.

Кто такой викжель, никто из старших не знал. Не было к нему пояснения и в источнике. Я смекнул: слово это французское, и кинулся в квартиру 17, что этажом ниже, к Лидии Борисовне Красильниковой, учившей меня французскому. Она была единственной интеллигенткой гуманитарного толка на квадратные километры вокруг. Она была старуха из позапрошлого века: своими глазами видела и своими ушами слышала таких динозавров, как

Игорь Северянин и Анна Ахматова. Она мне объяснила недавно слово журфикс из Александра Блока. И что же! Про викжеля и она не знала! Нету такого слова по-французски!

Я продолжал переживать. Есть путь, а у пути есть свой викжель... или даже так: есть Путь и его Викжель. Из четверостишья почти с несомненностью следовало, что эти два слова — Викжель пути — образуют целостную конструкцию типа принца крови или капитана корабля: существительное в любом падеже, поясняемое существительным в родительном падеже. Но ответа не было, и страдания мои со временем утихли. Когда тебе неполных четырнадцать лет, ты не только стихами живёшь, не только символистами.

Ответ пришёл десятилетия спустя. Оказалось, что Викжель — всероссийский исполнительный комитет железнодорожников, а «пути» в этом четверостишье — рельсы, которые разводит железнодорожный стрелочник. Хорошо, что я не в детстве это узнал! Вот уж грохнулся бы с небес на землю! Символистка — а пишет о такой прозе, как железная дорога! и не о светопреставлении, а о бегстве от большевиков.

Исторический Викжель возник в июле или августе 1917 года, ещё до большевиков, но не просуществовал и шести месяцев. После большевистского переворота Викжель сперва противостоял большевикам, а затем двурушничал: на словах был против большевиков, на деле помогал им (что, вероятно, и возмутило Гиппиус). В январе 1918 года большевики Викжель упразднили.

Зинаида Гиппиус — поэт не первого ряда, тут все согласны, но всё-таки поэт, да и ума и культуры ей не занимать. Как могла она допустить эту двусмысленность, эту возможность воспринимать сочетание *Викжель пути* как целостную конструкцию? Конечно, для неё и для всех вокруг Викжель тогда был голая реальность, а не фантом, и смысл не ускользал. Но это не отменяет ошибки, потому что непредусмотренная двусмысленность — ошибка даже в стихах. И какая двусмысленность! Надо совсем стихов не понимать, чтобы допустить её... Не скрою: эти соображения надолго посеяли во мне недоверие к поэтессе, даже некоторое презрение к ней.

Однако презирать следовало не Зинаиду Гиппиус. Прошли ещё десятилетия, Гиппиус издали, и оказалось, что полученный мною в детстве вариант четверостишья принадлежит не ей, а — Маяковскому: взят мною в 1960 году из его давно высмеянной статьи *Как делать стихи*. Настоящий текст Гиппиус не содержит возмущившей меня ошибки. Он такой:

Мы стали псами подзаборными.

Не уползти!

Уж разобрал руками черными

Викжель — пути...

Это последняя строфа стихотворения *Сейчас*, — о том, что Россия погибла. Его смысл и самая его лексика — «плевок матросские», «радители в бегах», «согласители в Це-ках» — исключают возможность увидеть в Викжеле символического демона, так поразившего мальчишку. «Разобрал пути» не то, что «развёл руками», главное же — тире в последней строке не позволяет прочесть слитно: Викжель Пути...

Всё разъяснилось. И как прозаически разъяснилось! Гиппиус не упрекнёшь, Маяковского не похвалишь, — ничего нового...



Начальственные роботы из ФБ учат меня тому, что можно, а что нельзя: закрывают некоторые мои сочинения на ленте ФБ. Их установка — политическая корректность: вчерашняя выродившаяся правда, нынешняя ложь под маской истины, зло под личиной добра. Скажу больше: нынешняя политическая корректность — форма народопоклонства. «Все народы равноценны» — что может быть глупее? Это — отрицание всей истории и всей культуры. Перед нами опять уравниловка, отсекающая высокое, защищающая самодовольного обывателя с его конституцией куцей. Политическая корректность и поэзия — две вещи несовместные. Политически-корректный поэт — противоречие в терминах. Таковых ещё не бывало. Поэзия есть форма постижения мира посредством парадокса, преувеличения, оксиморона. Она сама, во всей своей полноте, — оксиморон. Несогласен с этим только Смердяков: «это чтоб стихи-с, то это существенный вздор-с».

Что из моих стихов закрыли роботы ФБ? А вот что:

* * *

Враги наплодили детей —
Неужто их будем щадить?!
И баб их бомби без затей,
Чтоб некому было плодить.

27.03.22

Роботу недоступен элементарный троп: речь воображаемого литературного героя. Тупица-автомат «думает», что это я, Юрий Колкер, призываю убивать женщин и детей. Человеку — такое никогда не придёт в голову.

И вот это им не понравилось:

* * *

...Испанцем — нет, а португальцем — да.
Клянусь тебе, я вовсе не шучу:
Всё русское похерив навсегда,
Я португальцем умереть хочу.

Я русским был. Проклятья хуже нет.
Я сбросил это подлое ярмо.
Когда ты португалец, ты — поэт,
Когда ты русский — ты дерьмо, дерьмо.

29.04.22

* * *

Есть слово украинское: москаль.
В нём — скальпель, отсекающий саркому.
Напрасно пасть беззубую не скаль,
Москва презренная! Ты — в масть Содому.

Сто лет столица ханжества и лжи,
Ты состязалась с Гитлером: кто хуже,
Ты с Марксом «штурмовала рубежи»,
А издыхаешь — в кривославной луже.

9.06.22

Нужно ли говорить, что я ни на крохотную секунду не отрекаюсь от этих моих слов? Нет и не может быть человеческого установления, осуждающего ненависть к Гитлеру и его приспешникам.

Забраковали роботы-недоучки и моё уведомление:

Ещё раз: я никогда никому не шлю видео-приложений. Мой ящик был взломан. Мерзость от моего имени рассылают продажные москали.

Вероятно, слово москаль идёт у роботов за ругательство. Интересно, так ли со словом хохол? Впрочем, не интересно. Не хватало ещё изучать логику автоматов.

Роботы ФБ — люди снисходительные. Они говорят мне: «Мы понимаем, что ошибки случаются, и покамест не закрываем вашего ящика». Это ли не доброта?! Братья по разуму дают мне шанс исправиться! Но я этим шансом не воспользуюсь. Я скажу им: закрывайте. Я необщителен, живу затворником, славы и денег не ищу, тридцать лет (до позапрошлого года) преспокойно обходился без ФБ, могу и дальше прожить без этой толкучки. Плохи или хороши мои сочинения, они — литература, а ФБ — не для литературы. Простейший литературный приём ставит упыря в пень, оскорбляет ухо обывателя.

Чтобы показать (в первую очередь самому себе), что я не завишу от политически-корректных роботов, отказываюсь от ФБ сам, на время или навсегда. Разумеется, этот бойкот несколько смешон; роботы моего отсутствия не заметят и денег на мне не потеряют. Не стоит в плохую погоду выходить с плакатом «Долой дождь!» вместо зонтика. Но и не совсем он лишён смысла, мой протест. Нравственный климат на планете испортился. Не будет лишним напомнить (себе и другим), что роботы стали частью природы, в которой мы живём. Мы покоряем природу, создавая облегчающие нашу жизнь устройства, — но действие равно противодействию, и через эти устройства природа в отместку покоряет нас. Попробуйте прожить день без электричества или канализации.

Я попробую прожить без ФБ. Отказываюсь от сладкого: от немедленного отклика на только что мною сочинённое.

Мои немногие настоящие друзья и мои новые ФБ-друзья (уж не говорю про врагов) от этого моего бойкота не пострадают. ФБ был моим черновиком. Все мои сочинения после правки идут на мой сайт yugi-kolker.com, обновляемый практически ежедневно. Стихи идут в Я ВАС ЛЮБИЛ / ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЁЖ, недавняя проза, сколько-нибудь важная для меня, — сперва на главную страницу под моим портретом, а затем в разные отделы. Читайте и критикуйте, если не скучно. И перемолвиться со мною всегда можно при желании.

На прощанье — вот несколько строк в рифму (отправная точка — слова Ходасевича «Люблю людей, люблю природу»):

Ничуть я не люблю природу.
Натура мне не по нутру.
А уж народ... Ему, народу,
Я шкуру с радостью сдеру.

Кади, народ, твоей утробе.
От пуза жить не запретишь.
Ты — светоч? Тупости и злобе
Ты светишь, ханжеский фетиш.

18 июня 2022

ДЕВЯНОСТО ТРИ

Девяносто три — *Quatre-vingt-treize* — так называется последний роман Виктора Гюго (1874), потрясший меня в 1959 году. Мне было тринадцать лет, роман я прочёл по-русски, с придыханием, и — с примечаниями. Примечания, понятно, были плохие, советские, но при всём том они стали для меня окном в Европу и началом самообразования. Я вдруг разом стал не «такой, как все».

Я в тот год и весь русский (1956 года) пятнадцатитомник Гюго прочёл, от корки до корки, с его чудовищными, тяжеловесными, упоительными александрийскими стихами... я захлёбывался от восторга, я бредил этим писателем... Ах, это был пророк! Он предсказал Соединённые Штаты Европы (со столицей в Париже), он вывел в мир первого супермена (Жана Вальжана). Слог Гюго, его торжественная высокопарность, витиеватость и манерность — определили моё детское сознание, моё отношение к миру, включая и моё отношение к родине, к Ленинграду: ещё не умея этого сформулировать, я вдруг нутром почуял, что живу в глухой культурной провинции.

Знаю всё ироническое, сказанное про Гюго... Тут простор для иронии! Вот уж кто апофеоз самодовольства! На вопрос о первом поэте он отвечает: «Второй — Мюссе». Двадцать страниц прозы и восемьдесят стихов в день — машина, а не человек! Гюго презирает Гёте. Гюго презирает Мериме... и было за что: Мериме в его присутствии сказал, что лучшим поэтом Европы считает Пушкина. Гюго презирает вообще всех в глаза... Но и его презирают. Разве мы забудем, что на вопрос, кто лучший поэт Франции, Андрей Жид ответил: «Увы, Виктор Гюго!» В этом «увы» — слышится приговор всей французской поэзии, о ничтожестве которой и Пушкин писал ... в незаконченном сочинении *О ничтожестве литературы русской*.

По-русски, для непонятливых вроде меня, роман *Quatrevingt-treize* назывался *Девяносто третий год*. Не попробовать ли перечитать его по-настоящему? Вот уж будет мемуар-так-мемуар! Я ведь о себе пишу. Не раз и не два я писал, что ничем не обязан отцу по части воспитания и образования, а сейчас вижу: нет, обязан! Это ведь он стал выписывать собрания сочинений, которые появились после смерти Сталина. Жюль Верна я прочёл выборочно, Драйзер мне не понравился, Бальзака я читать не смог, а Гюго — проглотил, перечитывал, насытиться не мог. Спасибо, папа!

Вот первая фраза романа Гюго (хотя это сочинение вряд ли можно считать романом):

«Dans les derniers jours de mai 1793, un des bataillons parisiens amenés en Bretagne par Santerre fouillait le redoutable bois de la Saudraie en Astillé.»

То есть:

«В последних числах мая 1793 года один из парижских батальонов [санкюлотов, национальной гвардии], приведённых в Бретань Сантером, прочёсывал грозную Содрейскую чащобу неподалёку от Астилле.»

Кто он таков, этот генерал санкюлотов?

До революции Антуан-Жозеф Сантер (1752-1809) был богатым пивоваром в Сент-Антуанском предместьи Парижа. Он отличался щедростью, в народе его знали и любили. Он принимал участие в штурме Бастилии 14 июля 1789 года и вскоре стал командиром батальона парижской национальной гвардии. Десятого августа 1792 года, во время штурма дворца Тюильри, Сантер возглавлял отряд добровольцев своего предместья. После установления республики (21 сентября 1792 года) Конвент назначил Сантера тюремщиком Людовика XVI. Двадцать первого января 1793 года, в день казни, Сантер сказал осуждённому: «Сударь, пора!» и привёз короля к ступеням эшафота.

Восстание в Вандее началось 11 марта 1793 года. Одиннадцатого июня 1793 Сантер — участник проигранной республиканцами битвы при Сомюре (Saumur). Подчинённые не считали Сантера хорошим командиром. Ходили слухи, что в Вандее он окружил себя восточной роскошью. Заподозренный в измене, Сантер был арестован в Париже в апреле 1794 года, однако уцелел: вышел из тюрьмы после падения Робеспьера. Он не продолжал военной карьеры, попытался вернуться к своим бочкам, но его пивоварня оказалась разрушенной. Сантер умер в бедности (вероятно, пережив трёх своих братьев и двух сестёр).

Гюго ошибается в первой же фразе: в 1793 году Сантер был послан не в Бретань, а в Вандею. В 1793 году в Бретани делать было нечего, шуанерия началась в 1794 году. Текст Гюго несколько дезориентирует: из него можно заключить, что Сантер был главной фигурой в Бретани (Вандее), но при Сомюре полководцем был не он, а Жак-Франсуа Мену, да и генералом национальной гвардии Сантер становится в июле 1793 года, после Самюра. Не помещает ли Гюго Вандею в Бретань?! В отрочестве я понял это именно так, а на карту не посмотрел.

В наши дни между Вандеей и Бретанью даже общей границы нет. Прежде Бретань была провинцией Франции (до 21 сентября 1791 года, когда вступило в силу постановление Учредительного собрания от 1789 года ввести вместо провинций департаменты), а Вандея, территориально сравнительно небольшая, никогда не была провинцией, она практически целиком входила в провинцию Пуату и лишь своим северным краем, южнее устья Луары, — в прежнюю Бретань (теперь этот край относят к Вандее). Любопытно, что и Сомюр, при котором Сантер не увенчался славой, город в трёхстах километрах на юго-запад от Парижа, находился в ту пору не в Вандее и не в Бретани, а в провинции Анжу (с 1791 года он относится к департаменту Мэн-э-Луар). Выходит, что война в Вандее велась не только в Вандее. Кажется даже, что Вандея географически не была строго очерчена, так что ошибка Гюго простительна. В французской географии с историей — чорт ногу сломит. Все провинции в средние века бы-

ли независимыми княжествами или королевствами. Их границы менялись (Сомюр какое-то время даже к Аквитании относился, то есть был под властью английских Плантагенетов). До революционного передела в каждой из этих провинций существовали разные законы и взимались разные налоги, так что между провинциями королевства и контрабанда процветала...

Что такое Астилей? Крохотный город, а то и деревня, в бывшей провинции Мэн, в нынешнем округе Майене (пишут Майенн, а по мне правильно Майена). Астилей расположен на восток от Бретани (её восточная граница не менялась) и сильно на северо-восток от низовий Луары, естественной границы Вандеи.

Что такое *bois de la Saudraie*? Эта конструкция переведена в русском издании 1956 года как Содрейский лес. Насколько я понимаю, лес по-французски *forêt*, а *bois* — скорее древесина, на худой конец роща, чаша. Роюсь в сети. Убеждаюсь, что «грозный Содрейский лес» известен только благодаря вот этому сочинению Гюго: *Quatre-vingt treize*. Перевожу *bois* как чащобу.

Общий мой вывод вот какой: для Гюго в 1873 году, когда он писал своё сочинение, Вандея была понятием скорее культурно-историческим, чем географическим: символом крестьянского восстания. Иначе придётся сказать, что он всю Вандею целиком запикивает в Бретань. Гюго явно не знает, где на современной ему географической карте находится *департамент* Вандея.

Идём дальше.

«C’était l’époque où, après l’Argonne, Jemmapes et Valmy...»

«Это была эпоха, когда после Аргоны, Жемапа и Вальми...»

Вальми — деревня на северо-востоке Франции, не слишком далеко от Бельгии. Битва при Вальми произошла 20 сентября 1792 года. Это была первая победа революционной Франции (ещё королевской; республика наступила на другой день) над пруссаками под командованием герцога Брауншвейгского и австрийцами под командованием фельдмаршала графа Клерфэ. Во главе французов стояли Демурье и Келлерман, будущий перебежчик и будущий наполеоновский маршал, он же — бывший королевский маршал. Для Франсуа-Кристофа Келлермана битва при Вальми стала величайшим карьерным взлётом. Он, профессиональный военный, и прежде отличался храбростью, а тут — расположил свою артиллерию так, что впоследствии сам Наполеон, тоже артиллерист, изумлялся дерзости этой диспозиции. «Я считаю себя самым храбрым полководцем всех времён и народов, — сказал как-то император, — но я не решился бы расположить мои пушки на этом кряже под Вальми.» Канонада (40 пушек французов против 54 пушек союзников) и решила дело. Потери обеих сторон были незначительны. Демурье остался в стороне, пруссаки тоже почему-то не смогли или не захотели ввести в бой все свои силы (численный перевес был на их стороне) и не только отошли, но и отказались от продолжения кампании... Наполеон, став императором, не забыл о подвиге Келлермана: удостоил его не только маршальского чина, но и титула герцога Вальмийского.

Победа под Вальми явилась для всех неожиданностью. Гёте назвал её поворотным моментом истории. Историки согласны с поэтом: именно битва при Вальми открыла дорогу дальнейшему развитию революции... Напрашивается изумительная спекуляция: свалить Вальми, а с этой победой — и победу французской революции... — на Россию, на Суворова, который как раз в это время вторгся в Польшу (второй раздел Польши). Герцог Брауншвейгский мог решить, что стоит поберечь свою армию для дел более насущных.

Жемап — бельгийский (валлонский) город, в 1792 году принадлежавший *австрийским* Нидерландам. Битва при Жемапе произошла 6 ноября 1792 года. Французы, среди которых преобладали необученные добровольцы, победили (не в последнюю очередь за счёт трёхкратного численного превосходства и двукратного превосходства в артиллерии) австрийскую регулярную армию. Если при Вальми французы отражали вторжение, то при Жемапе они наступали и в итоге отняли у Габсбургов всю Бельгию...

Конструкция «после Аргоны» кажется мне ошибкой. Аргона (в русском издании 1956 года: Аргонн) — не город и не деревня, а лесистая и холмистая местность, через теснины которой (через Аргонский лес) Брунвик вышел к Вальми. За неделю до Вальми тут было столкновение между французами и войсками первой коалиции (при Ла-Круа-о-Буа), но стороны разошлись ни с чем, и на имя битвы это кровопролитие не тянет. Не может оно стоять первым в одном ряду с такими победами как Вальми и Жемап — ни по значению, ни даже по хронологии: Аргона 12-14 сентября, Жемап — 6 ноября, Вальми — 20 сентября 1792 года. Гюго явно что-то путает, а переводчик подхватывает и усугубляет эту путаницу.

Идём дальше.

«Les bataillons envoyés de Paris en Vendée comptaient neuf cent douze hommes. Chaque bataillon avait trois pièces de canon. Ils avaient été rapidement mis sur pied. Le 25 avril, Gohier étant ministre de la justice et Bouchotte étant ministre de la guerre, la section du Bon-Conseil avait proposé d'envoyer des bataillons de volontaires en Vendée; le membre de la commune Lubin avait fait le rapport; le 1er mai, Santerre était prêt à faire partir douze mille soldats, trente pièces de campagne et un bataillon de canonniers.»

«Батальоны, отправленные Парижем в Вандею, насчитывали каждый по девятьсот двенадцать человек. В каждом было по три артиллерийских орудия. Формировали их в спешке: 25 апреля, когда Гойе был министром юстиции, а Бушот — военным министром, секция Бон-Консейль предложила отправить в Вандею несколько батальонов добровольцев; член коммуны Любен сделал об этом доклад, и уже 1 мая Сантер мог вести за собою двенадцать тысяч солдат с тридцатью полевыми орудиями и батальон артиллеристов.»

Так это в моём переводе. В русском издании 1956 года — иначе:

«Во всех батальонах, посланных из Парижа в Вандею, было девятьсот двенадцать человек... первого мая Сантерр уже мог направить к месту назначения двенадцать тысяч солдат».

«Во всех» — вместо «в каждом»! Бумага всё терпит. Но и читатели — мышей не ловят. Я не споткнулся на этой арифметической путанице в мои тринадцать лет, проглотил её.

Споткнулся я тогда на слове коммуна. Кто не слышал про Парижскую коммуну? В моём поколении — все слышали... но ведь это — 1871 год, а у нас на дворе 1793-й! Пояснений в издании 1956 года нет. Так я и не узнал в моём отрочестве, что коммуна по-французски — всего-навсего муниципалитет, местный совет во главе с мэром. В мирной жизни коммуна за-

нята всяческим благоустройством. В революционном 1793 году парижская коммуна являла собою отдельную политическую силу: спорила с Конвентом, навязывала ему свою волю, поддерживала Конвент; в данном случае — посылкой парижских добровольцев предложила помощь центральному правительству и регулярной армии.

Про секции я, помнится, что-то знал в детстве... да потом забыл. Возникли они в связи с выборами в Учредительное собрание в 1790 году: Париж был разделён на 48 выборных секций. После выборов секции не распались, а превратились в политические вертепы, своего рода самозванные муниципалитеты, со своими вооружёнными силами. Именно представители секций составили в итоге парижскую коммуну, настроенную радикальнее Конвента. После падения Робеспьера 9 термидора II года (27 июля 1794 года) Конвент расправился с коммуной: казнил 73-х её членов.

Секция Бон-Консейль заседала в церкви Сен-Жак-л'Опиталь, на месте которой теперь дом 133-бис по улице Сен-Дени. Устами своего председателя Жана-Франсуа Лешнара эта секция уже 5 августа 1792 года, за пять дней до штурма Тюильри, заявила, что не признает власти короля.

«Члена коммуны» Люблена звали Жан-Жак (1765-1794). Он был художником и, понятно, санкюлотом, заседал в секции Елисейских полей, был представителем этой секции в парижской коммуне (в «повстанческой коммуне»). Он был гильотинирован на третий день после падения Робеспьера (29 июля 1794). Его младший брат-погодок, адвокат Жан-Батист Люблен, наоборот, уцелел именно благодаря 9 термидора. Член клуба Фёльянов, арестованный санкюлотами «по подозрению в неучтивости» (*comme suspect d'incivisme*; он публично говорил о заговоре якобинцев), Жан-Батист не дождался суда: его дело попало в Комитет общественной безопасности... 8 термидора, за день до переворота. Счастливчик!

Остались две фигуры: Луи-Жером Гойе (1746-1830) и Жан-Батист-Ноэль Бушот (1754-1840). И они — счастливики: первый прожил 84 года, второй — 85 лет, — это в такие-то времена! Гюго не ошибается: оба были министрами летом 1793 года.

Гойе — адвокат, республиканец из умеренных, уцелел в годы террора, после термидора — член и глава Директории, возражал против захвата власти Наполеоном, но отделался двухдневным арестом. Наполеон симпатизировал Гойе; жена Гойе дружила с первой женой Наполеона, Жозефиной Богарне.

Бушот — профессиональный военный, кавалерист, полковник, отважный солдат и честный человек. Он замечателен тем, что будучи министром отличил Бонапарта и продвинул его. Директория отдала Бушота под суд непонятно за что, суд оправдал обвиняемого, и Бушот ушёл от дел, доживал свой долгий век на покое.

Перевожу дух. Это я прочёл первую страницу сочинения Гюго... Нет, так читать нельзя...

«ПОД ЗАЩИТОЙ ЧУЖДЫХ КРЫЛ»

Ты осуждаешь меня. Ты говоришь: вольно́ мне смотреть на происходящее глазами историка, когда мирных жителей убивают из прихоти, ни за грош, а честные люди рискуют свободой и жизнью за плакат «Нет войне!». Ты переадресуешь мне знаменитые слова Ахматовой: «Под защитой чуждых крыл».

Я отвечу тебе по пунктам.

Глазами историка я смотрю на человечество не со вчерашнего дня, а с отрочества. Чуть ли не первые мои стихи 1956 года — о восстании ионян против персов, пятисотый год до новой эры. Всю мою жизнь я люблю историю и презираю политику. Из теперешних кремлёвских бандитов я знаю по имени только главного. Имя героического президента Украины я узнал только с началом войны. Так я устроен. Не вижу в этом греха. «Прошлое жадно глядится в грядущее. Нет настоящего, жалкого — нет».

Повторю то, к чему меня привёл мой исторический взгляд на происходящее и за что меня ругают. Русский народ опозорен в целом, со всеми его святыми, подвижниками и героями, о которых я сокрушаюсь. Имя русский стало ненавистно человечеству и пребудет ненавистным десятилетия или столетия. Украина должна быть независима. Она будет независима, если человечество уцелеет, и всегда будет ненавидеть Россию, если Россия уцелеет. Я за то, чтоб Россия — не уцелела. Мир уничтожил Пруссию, мир должен уничтожить и Россию. Россия неискоренима, неизлечима. Москва, мировая столица лжи, должна быть снесена с лица земли, как некогда Ниневия. Не Путин виновник войны, а — русский народ как он есть (во всём многообразии своего этноса). Путина поддерживают миллионы: 71% народа. Его опричники исчисляются сотнями тысяч. Если Путин будет убит в ходе переворота, преемник Путина с очень большой степенью вероятности окажется хуже Путина. Русский народ меняет идеологию, не моргнув глазом. Его настоящая идеология — не большевизм и не православие, а мания мирового господства. Русские эпохи Сталина и эпохи Путина хуже немцев эпохи Гитлера. Эти русские (при всех их святых, героях и подвижниках) — самый жестокий народ на свете, что доказано гражданской войной, ГУЛАГом и украинской войной. Всё это я говорю о русских не как представитель другого народа. По материнской линии я из крепостных. Полжизни я считал себя русским, треть жизни гордился именем русский. Стыжусь этого имени после захвата Крыма. Даже Пушкин и Толстой не спасают от этого стыда.

Теперь о «чуждых крылах». Любой из нынешних цивилизованных народов мне роднее, чем русский народ как он есть. Русский народ в его теперешнем позоре мне чужд совершенно. Я всем сердцем сочувствую честным людям, вынужденным жить в России. Они — несчастнейшие люди на свете. Даже молчаливый протест сегодня требует настоящего мужества, а уж протест заявленный — величайший героизм, жертвенный подвиг. Кланяюсь в ноги героям и страдальцам! А теперь посмотрим в глаза горькой правде: эти герои, эти страдальцы — антинародны, их героизм, страдания, жертвы — обесмыслены. Русский народ неискореним, неизлечим. Русских людей — может спасти только уничтожение русского народа с его манией всемирного господства.

Анне Ахматовой с её «чуждыми крылами» давно и веско возразили до меня. Возразила Ариадна Скрябина, погибшая во французском Сопротивлении. Возразили тысячи других русских, сражавшихся с нацистами на Западе. Возразил Георгий Адамович, публично сказавший, что «крылья советов» должны бы были казаться Ахматовой куда более чуждыми, чем любые другие «крыла». Я считаю эти стихи Ахматовой её величайшей неудачей, особенно стих «Я была тогда с моим народом». Это — ложь. Народ Ахматовой был в эмиграции, в ГУЛАГе, в могиле, а вокруг неё был советский народ, «новая человеческая общность», народ-убийца, который в наше время сбросил идеологическую маску и оказался теперешним русским народом, самым жестоким народом на планете.

И ещё одно. Да, я «под защитой крыл», я защищён лучше, чем любой человек в России, не исключая Путина. Но, во-первых, «от судеб защиты нет». А во-вторых и в-главных, не я ли

прошёл через ад, когда целых десять лет добивался выездной визы из Совдепии, с 1974 по 1984-й? От меня отвернулись все вокруг, включая родных и близких. Вот тогда-то меня и осенило первое прозрение насчёт «русского народа». В моих стихах 1970-х я невольно сказал о русских такое, от чего сам отшатнулся в ужасе. Я всё ещё верил тогда, что стоит свергнуть большевизм, и воспрянет Россия Пушкина. Зато теперь мои тогдашние слова выглядят пророческими. Теперь весь мир видит, что такое русские.

17.03.22



Ты спрашиваешь, почему я не стираю ругань в мой адрес. Да потому, что ругань подтверждает мою правоту. Суди сама. Пусть я высказал нечто возмездительное и глупое. Если умный и серьёзный человек не находит фактов и доводов, чтобы мне возразить; если я оказываюсь у него негодяем, вором, убийцей, — значит, моё суждение устояло, остаётся в силе, «не полиняло ни пёрышком» (как говорит Шекспир устами Пастернака). Что и требовалось доказать. Я совсем не утверждаю, что я хороший человек. Пусть я плохой. Я с этим согласен. Но это не довод в споре, если спор не обо мне. Заметь ещё, что «переход на личности» в споре обычен у русских. Человеку русско-советской формации говоришь: «А равно Б», а он в ответ утверждает, что я старушку топором зарубил.

5.03.22



...Ты не права: дело не в численности жертв. Да, русские (россияне) времён Сталина убили в пять раз больше ни в чём не замешанных людей, простых обывателей, чем немцы (германцы) времён Гитлера. Но это само по себе ещё не свидетельствует о том, что русские более жестоки. Немцы орудовали двенадцать лет, русские — тридцать шесть лет: вот и успели больше. Могло выйти иначе. Нет, дело в том, что немцы убивали тех, кого объявили *чужими* и плохими по расовому признаку, а русские — тех, кого объявили плохими по классовому признаку, то есть — всех без разбору, в первую очередь русских! Кто, по-твоему, более жесток: кто убил чужого или кто убил брата? И ведь классовый признак — критерий расплывчатый, растяжимый. Какой простор для спекуляций, для сведения счётов, для произвола! Человек очки носит и формулы пишет? — он враг народа! К стенке! И какой простор для врождённой жестокости! У немцев — такого не было, там всё регламентировано было. А ещё — сохранились документы о неслыханных пытках во время русской гражданской войны и в ГУЛАГе, — о пытках, какие немцам не по уму оказались. Не описаны такие пытки у немцев, а ведь как все послевоенные народы старались побеждённых очернить! Более всего вот что поражает: в своём большинстве страшные советские пытки не были предписанием советского начальства, они были инициативой снизу, народным творчеством, — а уж этого у немцев (туповатых и законопослушных, согласно русской традиции) и вообще не водилось... Не сомневаюсь, что за эти мои соображения добрые люди объявят меня неонацистом. Кланяюсь обвинителям. Добрые люди довольно часто выдают своё за чужое. Так уже было недавно в связи с моим сочинением *О войне и народопоклонстве*. Добрые люди приписали мне слова: «Евреи пострадали от русских больше, чем от немцев». Но я ничего подобного не говорил и не писал. Я во-

обще не говорил о евреях: я говорил и говорю о германцах времён нацизма и россиянах времён большевизма и нео-большевизма. Я утверждал и утверждаю, что вторые показали себя людьми более жестокими, чем первые. Украинская война — подтверждение моим словам: опять ни за что убивают людей, родных по крови и культуре, опять зверствуют ради зверства, из любви к жестокости. Мой вывод прежний: русский народ (во всём своём этническом многообразии) — самый жестокий народ в мире, считая с 1917 года по сей день. Немцы времён нацизма (тоже этнически неоднородные) были менее жестоки. За эти мои слова я готов отвечать перед любым судом.

5.03.22



...Я тут давеча повторил слова Булгакова: «Истину говорить легко и приятно». Повторил ради красного словца. Я так не думаю. Весь мой опыт подтверждает слова Лютера: «Истина мучительна и болезнетворна». Да что мой опыт! Исторический опыт это подтверждает. Людей на костёр посылали за непривычное, казавшееся святотатством. Лютер жизнью рисковал, вывешивая на двери церкви свои тезисы. Он уцелел, но поплатился недёшево: от него отвернулись родные и близкие. От него отвернулся Эразм, а ведь Лютер всего лишь привёл в систему слова Эразма. «На этом стою и не могу иначе», сказал Лютер судьям, — но разве сам он не страдал от своей истины? Ведь он вырос в недрах католицизма, с младенчества дышал этой верой, умилялся перед иконами. Отвергая папство, он от матери родной отворачивался, — легко ли такое?

И мне, хоть я человек маленький, непросто дались мои слова о России и русских, хоть они и продиктованы совестью. Я выходец из русских, я сорок лет жил с мечтой о России; даже в Израиле с нею не расставался. Но вот — пришлось расстаться. Подлостью была грузинская война, подлостью были чеченские войны: напасть из прихоти на слабого — разве не подлость? Но украинская война превзошла всё мыслимое.

Теперь спросим себя: кремлёвский вождь и его думаки — они что, иноземные захватчики, подчинившие себе доброго и всемирно-отзывчивого русского человека? Они ведь и есть русский народ. И приходится сказать: русские — убийцы. Все русские, кроме тех, что вышел на площадь и хоть чем-то рискнул или поступился, а их — горстка. Русские ни за что ни про что убивают украинцев, которых десятилетиями называли братьями. Не солдат убивают, а кого ни попадя, включая женщин и детей. Убивают не из политической необходимости, не из выгоды и корысти, а — просто так, из прихоти, из имперских амбиций и по приказу начальства. Кто они после этого? Об их прадедах Кюстин сказал: «Раб на коленях, мечтающий о мировом господстве», — но, боже правый, у этих прадедов и общественное мнение было не мертво, и совесть водилась, да и самый империализм не был в те времена осуждён всеми без исключения цивилизованными народами. Нет, я стою на своём: имя русский — опозорено навсегда. Не то, что «с Россией кончено» (как сказал Волошин), не то что «Россия не удалась» (по слову Вейдле; он, как и Волошин, был православным и русским патриотом), — петровская Россия умерла как идея и мечта. Вернулась Московия. Пушкин и Толстой растоптаны Малютой Скуратовым. Антипетровский реванш завершился.

5.03.22

Я аполитичен, но война вынуждает меня высказаться. Не обязательно быть Львом Толстым, чтобы произнести своё: «Не могу молчать» (между прочим, Толстой повторил слова Иеремии). Когда задумываются и высказываются многие, достигается общественное равновесие, а то и справедливость.

Захват Украины — предательство, подлость, низость, но не новость. Однако хоть Путин и не лучше Гитлера и Сталина (тут все согласны), его смешно винить: он, законный правитель и лучший представитель своего народа, всего лишь выполняет волю народа. Миллионы кричали: Крым наш! Теперь миллионы будут кричать: Киев наш! Каждый народ не лучше своего правительства, но народы автократий, готовые терпеть несменяемых вождей и поклоняться им, — хуже своих правительств. Нужно, наконец, произнести и усвоить эту горькую истину, хоть она и трудно даётся народопоклонникам: теперешний «русский народ» как целое — хуже Путина, Сталина и Гитлера. Мечта о народе-богоносце, детище великой русской литературы девятнадцатого века, развенчана в пух и прах. На месте мужичка-христофора оказался Малюта Скуратов. Лубянка и ГУЛАГ — вот народное «спасибо сердечное» народным просветителям.

Путина может ожидать судьба Каддафи (он вряд ли умрёт своею смертью), но преемник Путина, кем бы он ни оказался, будет хуже Путина — и ближе к народу, к теперешнему «русскому народу», который *в своей массе* находится на доисторическом уровне. Среди этого народа есть подвижники и праведники, найдутся, пожалуй, гении и святые, но людей думающих и просто порядочных — катастрофически мало, капля в море, и усреднённый русский, будь он «по крови» татарин или еврей (для меня русский и россиянин — синонимы), — нравственный урод, лишённый ума, чести и совести. Народа, в настоящем смысле этого слова, в России нет. Если бы на улицы вышли не тысячи, а миллионы; если бы у кремлёвского вора не нашлось подручных и тюремщиков, он бы струсил и отозвал бы своих убийц. Мы всегда знали: большевики по своей жестокости превзошли нацистов. Но большевизма как будто бы нет, а народ в своём нравственном уродстве — тот же. И приходится признать: не большевики, а русские (россияне) оказались хуже нацистов. Страшные слова, но деваться некуда. Факты говорят, что русские времён Сталина и Путина — самый жестокий народ в мире.

А от упрёка в ксенофобии я надёжно защищён происхождением и воспитанием. Я о русских говорю не как представитель другого народа. Я ихний. Я из крепостных. Я Чистяков по матери. Я вырос в сознании, что я русский, я гордился этим, о другом и помыслить не мог. Но русским людям вокруг меня такое не нравилось, и со временем — ох, не сразу! — во мне взяла верх иная гордость, а с нею — и прозрение: с болью и горечью я уразумел, что такое Россия и русские. А с прозрением — пришло и презрение.

Незачем копать глубоко, возьмём польский вопрос. Чем в девятнадцатом веке (!), лучшем в истории России, откликнулись лучшие русские люди на борьбу поляков за свободу? Самые лучшие, — Пушкин, Лермонтов, Тютчев — откликнулись смесью высокомерия, бахвальства и глупости. Я не о черни говорю, которая в просвещённом Петербурге в девятнадцатом веке врачей убивала как отравителей, а студентов — как поджигателей. Я о поэтах говорю, о блистательных русских европейцах. Стыдно и вспоминать. А после 1917 года — чернь воцарилась. Правы были большевики: они создали «новую человеческую общность, советский народ». Создали на базе русского народа и его национальных ценностей, включающих рабство. ГУЛАГ не евреи придумали, не латышские стрелки, даже не грузин Джугашвили; ГУЛАГ — плод русской истории. Большевики создали народ без понятия о святом, без Бога и нравствен-

ности, проникнутый ненавистью ко всему миру. Ленинизм сменился криволавием — а «народ» и бровью не повёл. Ничего не заметил. Ему что та идеология, что эта, — лишь бы лестная, лишь бы имперская...

Нет-нет, я не на этнос назираю, тут комар носа не подточит. Я пол-жизни считал себя русским. Я в юности с кулаками кидался на тех, кто называл меня евреем, потому что я не был евреем. А потом — перестал кидаться и стал евреем. И шесть лет прожил в Израиле. И готов был в любую минуту жизнь отдать за Израиль. И сейчас готов. Израиль вернул мне всё, что детства отняла Россия (точнее, то что ещё не поздно было вернуть), в первую очередь — человеческое достоинство. А ради России как она есть — я пальцем не шевельну. Предавшая меня родина стала мне чужой, и на её пресловутый народ (который, собственно, и есть родина) я смотрю открытыми глазами. Россия несправима, неизлечима.

1.03.22